



Надежда Кожевникова

Елена  
Прекрасная

Надежда Кожевникова

**Елена Прекрасная**

«Accent Graphics communications»

2011

## **Кожевникова Н. В.**

Елена Прекрасная / Н. В. Кожевникова — «Accent Graphics communications», 2011

«...Мать выслушала, не спуская с дочери цепкого взгляда: «Послушай, – сказала она, – станешь человеком-личностью, и многое тебе простится, пойми. Иначе... – она помолчала. – Даже любимой, только любимой, жить трудно. Небезопасно и... унизительно. – Вздохнула. – Да и не получится это у тебя»...»

© Кожевникова Н. В., 2011

© Accent Graphics  
communications, 2011

# Содержание

От автора	5
1	7
2	10
3	16
4	18
5	20
6	21
Конец ознакомительного фрагмента.	24

# Надежда Кожевникова Елена Прекрасная

## От автора

Идея вернуться и вернуть читателям давнюю мою повесть «Елена Прекрасная», опубликованную в «Новом мире» в 1982 году, возникла случайно. Она вышла и в названной одноименно моей книжке в издательстве «Советский писатель», переводилась и в братских, так тогда называлось, странах, по ее мотивам делались инсценировки, но все это, я так полагала, осталось в прошлом. Честно сказать, меня удивляло, что не только люди из моего близкого окружения, но и те, кого не знаю, никогда не встречалась, спрашивают: а где можно «Елену Прекрасную» сейчас прочесть?

Да нигде. Интернета в то время не существовало, электронная версия, понятно, отсутствует, а тираж книжки, теперь фантастический, в сто тысяч экземпляров, был давным-давно распродан.

Но мне самой стало любопытно, что же способствовало массовой популярности текста молодого, мне едва тридцать минуло, автора? Хотя рецензент «Нового мира», умная женщина, известный критик, диагноз поставила точный: повесть Надежды Кожевниковой «Елена Прекрасная» обречена на успех. «Успех» – это вроде как хорошо, но почему же «обречена»? Что имела в виду умница-рецензент, до меня дошло спустя многие годы.

Хотя, несмотря на успех, я тогда уже ощутила обиду за неправильную, считала, оценку мною написанного. «Елена Прекрасная» воспринялась как обнажение подноготного знаменитостей в разных сферах, но в первую очередь кумиров театра «Современник» – вот что оказалось самым лакомым. Между тем, меня, автора, занимало совсем другое: не столько воплощение всеми узнаваемого, угадываемого, сколько попытка осмыслить характеры, судьбы, и мне лично близкие, и наблюдаемые издали, допуская вольное сочинительство в эпизодах, где свидетелем ну никак быть не могла.

Удивило, что мои домыслы сочли за правду не только читателями, но и прототипами моей повести. Многие были в гневе, как ни странно, тоже уверовав, что я разгласила нечто тайное, дискретное, оскорбительное для них, хотя ничего нового, по фактам, о чем не знал, как это называется, «ближний круг», я не сообщила и сообщить не могла. Возмутило, верно, как я общеизвестные осмыслила, вывела фигуры, характеристики, со своим взглядом, со своей точки зрения, дистанцируясь, как в литературном жанре положено, от привычного их толкования.

Ефремов, его театр «Современник» считались в то время кумирами, недостижимыми для какой-либо критики, особенно в среде либеральной интеллигенции. А я позволила себе низвести с пьедестала якобы святыни. Осмелилась глянуть ну что ли житейски, буднично на то, что уже претендовало на иконописность. Да почему, с какой стати? Просто люди, и грешные, как все.

Олег Николаевич Ефремов, выведенный в моей повести под именем Николая как первый муж моей героини, счел возможным пойти жаловаться на меня в ЦК. Странно несколько, для такого, как он, глашатая свободы, демократии, не погнушавшегося примитивным доносом на, как он выразился, зарвавшуюся девчонку. Я об этом узнала от отца, которому в том же ЦК о визите Ефремова в «коридоры власти» сообщили незамедлительно. Справедливо рассудив, что суровый, такую отец имел репутацию, Кожевников сам с дочкой разберется. Что он и сделал по всем тогда имеющимся правилам.

После бурного объяснения мы с отцом вдрызг разругались, а я, приехав в отпуск в Москву из Женевы, где мой муж работал в Международном Красном Кресте, так ждала нашей с ним встречи, привезла подарки, и совершенно была не готова к такой непримиримой его реакции.

Из Переделкино, ночью, наревевшись, позвонила Радзинскому, прочитавшему мою повесть еще в рукописи, жалобно скуля: не хотела, не предполагала такого шквала негодования. На что Радзинский ответил: не ври, хотела, предполагала и получила соответственно, такой взрыв популярности должен радовать, а ты ноешь.

Но я, правда, никак не представляла, предаваясь блаженству писания, главки за главкой, что своим келейным занятием вызову общественный скандал.

Не утешало, что номер «Нового мира» с «Еленой Прекрасной» передавался из рук в руки, зачитывался до дыр, от Бюро пропаганды при Союзе писателей на встречи с читателями меня буквально разрывали, и даже отец, усмехаясь, признался, что, гуляя по Переделкино, постоянно слышит, что-де он думает о повести своей дочери? И он, как меня уверял, отвечал: не думаю ничего, не знаю, не читал. Полагаю – врал.

Но до меня доходили мнения тех, кто считал себя в моей повести тоже задетым, и я искренне огорчалась: неужели, за что, почему, и Галя Волчек, подруга моей сестры, осерчала? А ведь не хотела ей-то, мною за яркую даровитость уважаемой, причинить зла. Значит, в самом моем стиле, мышлении, природе заложена как бы жесткая бескомпромиссность, над чем я сама не властна.

Мои неприятности с прототипами, начавшиеся столь громогласно с «Елены Прекрасной», продолжались с фатальной неизбежностью и в дальнейшем. Каждая повесть, рассказ при обнародовании встречались неодобрительно, выражаясь мягко, в моем окружении, где узнавались те и то, что при моей зловредности, так считали, с дьявольской пронизательностью обнажалось. А ведь я работала в жанре беллетристики, имен не называла, ситуации вымышляла, и все-таки слышала: ты опасный человек, тебе доверяешь, а ты напишешь, и так напишешь, что ясно – нет для тебя ни дружбы, ни любви.

Мои оправдания, что дружба, любовь для меня существуют, но текст – это нечто другое, там другие законы, в основном отвергались. Я винулась, иной раз меня прощали, но и еще не задетые относились ко мне априорно подозрительно. Как-то моя приятельница, уже здесь, в США, которую я совершенно не собиралась сделать объектом своей «вивисекции», сказала: знаешь, Надя, каждый раз, открывая твою новую книжку, боюсь: а пощадила ли ты меня?

То, что в своих текстах я и к себе самой беспощадна – это совершенно никого не волнует. Между тем, у любого сочинителя, о чем бы он ни писал, всегда присутствует его авторское Я. И когда, спустя годы, от беллетристики я перешла к жанру, определяемому как мемуарное эссе, там у меня остаются те же, что и были, задачи: обнажения себя сквозь других, а других – сквозь себя.

# 1

Елена Георгиевна постоянно опаздывала на службу. Прийти вовремя казалось выше ее сил, хотя она очень старалась. Она говорила: «Ну подумать! Оставила в запасе полчаса, все должна была успеть! Прямо рок какой-то меня преследует...»

Ее выслушивали сочувственно. Ее любили. Она не проявляла в работе излишнего рвения, не заводила интриг, была разговорчива и чувствовала себя, казалось, очень уютно в этом женском коллективе. Отправляясь в обеденный перерыв по магазинам и увидев что-нибудь дефицитное, скажем, свежие огурцы или бананы, покупала на целый отдел. И, хотя по утрам опаздывала, в конце рабочего дня уйти не спешила: все стояли уже в пальто, а она все еще беседовала по телефону.

Она была высокая, статная, с пышными рыжевато-каштановыми волосами, которые свободной гривой спадали до плеч, бюстгальтер носила пятый номер и вообще производила впечатление.

Что называется, эффектная женщина, и нравилась мужчинам, то есть мужчины не успевали подумать, нравится ли она им, как, точно их за ниточку дергали, по команде будто оборачивались ей вслед.

Она душилась терпкими духами, довольно сильно красилась, вдевала в уши длинные серьги, напоминавшие елочные украшения, но даже самая что ни на есть дешевка на ней смотрелась. Она улыбалась всем подряд загадочно-обольстительно, но выражение ее красивых, с опущенными книзу уголками зеленоватых глаз настораживало: в них было что-то собачье.

Беседуя по телефону, она не старалась говорить тихо, не пользовалась намеками. Ее простодушная открытость оказывалась иной раз на грани то ли бесстыдства, то ли незащитности. О ней знали все: что она трижды была замужем и один из ее мужей стал знаменит, – говорила она многословно и с такой интонацией, точно ждала совета, точно иначе ничего не могла решить.

Такая жажда участливости располагала к ней. Можно сказать, у нее был дар вызывать в людях к себе симпатию. И к ней были снисходительны. Ей многое прощалось. Сотрудницы покрывали ее грешки перед начальством, и начальство делало вид, что верит: «Где Елена Георгиевна? Ах, только что вышла? В машбюро спустилась? Ну хорошо...» А на самом деле она, к примеру, сидела в парикмахерской: на рабочем столе стояла, правда, ее ядовито-зеленая сумка, и сотрудницы указывали на нее начальству как на вещественное доказательство присутствия Елены Георгиевны.

Над своим рабочим местом Елена Георгиевна повесила веселую картинку, где медвежонок с очень важной миной влезал на трехколесный велосипед, а на столе стояла керамическая вазочка и сплетенная из соломки кошка с задранной хвостом. Деловые бумаги у нее в ящиках были перемешаны с косметикой, с надорванными пачками печенья, с конфетами россыпью. И никогда она не старалась показаться умнее других, хотя была толкова и у нее нередко совета спрашивали, но эти качества она вовсе вроде в себе не ценила, а говорила как бы: я – женщина, женщина, и все.

На вид ей можно было дать лет тридцать пять, хотя на самом деле уже сорок три исполнилось, но она возраста своего вроде не чувствовала, и другие тоже его не замечали.

... На плитке как раз закипал чайник – они каждый раз эту плитку запрягивали, чтобы не видела противопожарная охрана, – у Елены Георгиевны конфеты нашлись, она их выложила на тарелку, и тут зазвонил телефон. Они переглянулись, они всегда так, при каждом звонке, переглядывались, как заговорщицы: кому из них и кто сейчас звонит – это было очень важно!

Трубку сняла самая из них молодая, стажерка Танечка; стараясь скрыть разочарованность, сказала: «Елена Георгиевна, вас...»

Елена Георгиевна, слегка улыбаясь, прижала к уху трубку. Они все внимательно за ней следили: они были коллектив и считали, что глядеть так в их праве. Они ждали события, но в глубине души разуверились, что событие действительно может в такой обстановке произойти.

Елена Георгиевна стояла у телефона молча. Слушала. Они заметили: она оперлась ладонью о стол, точно потеряв равновесие, ища опоры. Они заметили: она улыбнулась растерянно. Сказала: «Погоди. Дай мне...» Но, видно, ее опять перебили. Она сказала: «Хорошо». Она сказала: «Буду». Она не успела сказать никаких завершающих слов – на том конце провода, по видимости, бросили трубку.

Она села. Обвела взглядом своих коллег. Кожа лица ее стала дряблой, серой, пористой, пудра отслоилась, на ресницах комочками застыла тушь – ей можно было дать лет пятьдесят, не меньше.

Она сказала: «Мне надо уйти». Поднялась, взяла свою ядовито-зеленую сумку и вышла. Она вышла, и никто ни слова не проронил.

Она накинула на голову платок каким-то старушечьим, скорбным жестом. Запахнула пальто. Улица обдала сыростью. Взглянула нерешительно вслед удаляющемуся такси и пошла в противоположную сторону.

Она спешила, она задыхалась, она боялась опоздать.

Еще переходя улицу, она заметила, что ее поджидают. Бегом – она знала, что не надо бежать, – кинулась к скверу, платок сполз, сбился на плечи. Не отдышавшись, проговорила:

– Здравствуй!

И тут же поняла, как неуместна ее радость. Ее восторг, ее восхищение, дурацкая ее умиленность – ей это швырнули обратно, как сор. И тогда она повторила иначе, глухо:

– Здравствуй, Оксана.

Ей кивнули. Оксана сидела в той же позе, как Елена Георгиевна увидела ее издали: нога на ногу, руки в карманах, капюшон длинного черного пальто откинут, сияют золотом волосы. Узкое бледное лицо ничего не выражает, то есть выражает одну враждебность.

– Я с тобой встретилась по делу, – Оксана проговорила, почти не разжимая губ. – Может, слышала, я замуж выхожу. Папа устраивает свадьбу в «Национале». И вот что хотела спросить: та тахта, ну знаешь, она раньше в моей комнате стояла, на заказ ее делали – может, уступишь? – Усмехнулась. – Если жалко, я, конечно, переживу...

– Не жалко, – Елена Георгиевна не могла отвести от нее взгляда, вбирая, впитывая каждую черточку. Она настолько забылась, что не ощущала униженности – просто глядела.

И Оксана под ее взглядом заерзала. Встала:

– Что ж, простимся. Ты ведь с работы ушла.

– Ничего, не страшно, – Елена Георгиевна в той же забывчивости продолжала сидеть.

Оксана стояла над ней, высокая, тоненькая – прелестная! Елена Георгиевна, не удержавшись, улыбнулась. Оксана нахмурилась и вдруг прокричала:

– Чему ты улыбаешься, чему?!

– Я? – Елена Георгиевна вздрогнула. – Так... Погоди, – заспешила, – одну минуту...

– Минута, – Оксана отрезала, – ничего не даст. Никогда ничего не дает одна минута. И уж особенно в нашем с тобой, мама, случае.

Елена Георгиевна машинально кивнула. Зачем она кивнула? Ей было так страшно раздражить дочь! Вот она и кивнула... Она подняла глаза, снизу вверх взглянула – так, наверно, заискивающе получилось, – и тут ее как жаром обдало. Запоздало она возмутилась:

– Ты только за этим меня вызвала? Чтобы еще раз, еще раз...

Оксана скривилась:

– Пошла истерика... С меня – хватит.

Она уходила. И чем дальше, тем пристальнее Елена Георгиевна вглядывалась в ее уменьшающуюся фигуру – до боли, до рези в глазах. Оксана становилась все меньше – вот будто



ростом с первоклашку, а вот почти как детсадовская, а вот превратилась совсем в крохотный комочек плоти – и тогда она прижала ее к груди и разрыдалась.

## 2

Свое детство Елена Георгиевна слабо помнила. То есть не помнила, чтобы была в ее жизни некая безмятежная безоблачная пора, каковой детство обычно и характеризуется, – чтобы ощущала она себя счастливым ребенком, всех любящим и всеми любимым.

Казалось, первое чувство, что она испытала и которое запомнилось, была ревность. Ей исполнилось пять лет, когда родители разошлись: мать ушла к тому, кого полюбила.

Отношения с отцом тогда сразу оборвались, он только присылал алименты. Страсти, видно, настолько были накалены, что о благопристойных отношениях бывшие супруги не могли и думать.

Елена – мать и в детстве называла ее так торжественно – получила в новой семье отдельную комнату, о ней заботились, как могли улаживали, но она сразу выказала неблагодарность и вообще многие дурные свойства.

Она не тосковала об отце, она его забыла. Она видела, что мать и отчим живут хорошо и что к ней они внимательны, но откуда-то в ней взялись дикие повадки: глядела исподлобья, молчала, грызла ногти. Мать одевала ее нарядно, а она, отправляясь гулять, нарочно рвала, портила вещи.

Отчим держался с ней ровно, но серые его глаза глядели рассеянно. Он хорошо относился к детям, собакам, кошкам, он их гладил, с ними заговаривал. Кошки мурлыкали, собаки глядели преданно. Елена выставляла колючки и собиралась в комок.

В шесть лет она самостоятельно выучилась читать. Мама была в восторге. «Смотри, Валерий, – говорила, хвастаясь, – Елена уже до Гоголя добралась». Отчим доброжелательно улыбался, покупал ей прекрасно изданные книжки, у нее собственная библиотека собралась.

Она потребовала, чтобы дверь в ее комнату изнутри запиралась. Она любила читать допоздна, любила грызть в постели подсоленные черные сухарики. Мама запирается запретила. Врывалась ночью и насильно гасила свет. И сухарики – это ведь только засорять желудок!

Мама кричала, и Елена кричала. Отчим, очень спокойный, появлялся в дверях: «Нина, ну что ты, право...» Вроде он в защиту Елены выступал, но ни Елена, ни, кстати, мама тоже благородное вмешательство его не ценили. Когда он уходил, мама – она всегда была очень порывистая – кидалась Елену обнимать, шепча: «Доченька, доченька моя». Елена гладила мать по спине, а когда, примирившись, они расставались, снова принималась грызть припрятанные сухарики.

В школе она испортила отношения с учительницей, указав на допущенную той грамматическую ошибку. Мама, чтобы как-то положение уладить, вступила в родительский комитет. Но на родительских собраниях Елену все равно честили, и мама возвращалась с них пылающая. «Ты же умная, – убеждала она дочь чуть ли не со слезами, – так зачем же, зачем?»

Елена молчала.

У нее была очень красивая мать. То есть, может, даже не столько красивая – великолепная. Сверкающая, улыбчивая, душистая. И умная настолько, что скрывала свой ум. Улыбалась, воркующе что-то нашептывала мужу, и только морщинка между светлых бровей выдавала напряженность, сосредоточенность. Нашепчет – и муж убежден: надо делать именно так, именно то, что жена советует.

Елена наблюдала: ух как хитра, как лукава ее мать. Серебристо-пепельные волосы, поднятые вверх от затылка, открывали нежную шею, ушки крохотные, с капельками серег, и умела мать улыбаться застенчиво, как девушка.

Елена наблюдала: мать вставала рано, когда весь дом еще спал, в пестром лифчике, пестрых трусах делала перед зеркалом зарядку, принимала душ – женщина после тридцати должна

особенно тщательно следить за собой, – ставила чайник на плиту, готовила завтрак, и когда муж пробуждался, она уже была свежа, бодр.

Это была работа, служба, ежедневная, ежечасная, по укреплению брака, семьи. В любви – эх, милая – тоже надо трудиться. Надо нести неусыпный караул. Знать, помнить о тысяче разных деталей. Мужчина, муж, нуждается в терпеливейшей дрессировке. Мужчина чем сложнее, чем серьезней... тем, впрочем, легче найти к нему подход. Главное... ну об этом еще рано говорить, придет время.

Елена, укрывшись с головой одеялом, почувствовала приближение: в половине девятого ей надо было в школу уходить. Она не спала, сон рассеялся, но встать не хотелось: разболтанность – и непростительная! – валяться, уже проснувшись в постели. Безволие – самый тяжкий грех. Лениость – что ж, лениость придется вышибать хоть дубиной.

Мать срывала одеяло. Елена сжималась калачиком. Мать улыбалась: ну-ну... и только морщинка между светлых бровей выдавала ее раздражение.

В пижаме с задранным штаниной, с всклоченными волосами Елена, жмурясь, натываясь на стены, плелась в ванную. Мимо застекленной двери в кухню, где отчим кофе пил. Сидел за столом в отглаженной рубашке, при галстукке, развернув газету. Секундное скрещение взглядов, мгновенность оценки, глухое, сдавленное осуждение. Елена бормотала «доброе утро», защелкивала за собой в ванную дверь.

Пускала воду, струя лилась, впивалась в сверкающую голубоватой эмалью раковину. Зеркало, затуманенное горячим паром, впускало постепенно Еленино лицо: крупный нос, длинный рот, глаза волчонка, горящие непримиримостью.

Она все больше становилась похожей на своего отца, вопившего «убью, убью», гоняясь за матерью по квартире. Он готов был в самом деле ее убить – эту женщину, предавшую его любовь. А в загсе при разводе он плакал: мать говорила об этом кому-то из своих подруг.

Зубная паста горечью заполняла рот, белая тонкая струйка стекала по подбородку. Елена стояла, глядя в зеркало, опершись ладонями о раковину. В дверь стучали. Мать рвала дверь: «Ты слышишь? Ты что там делаешь?!».

Елена отворяла, глядела невозмутимо. Отчим стоял в прихожей уже в пальто. «Да иди ты, Валерий, иди», – мать чмокала его в щеку.

Елена с пустым портфелем шла проходными дворами, кратчайшим до школы путем. Медленно-медленно, останавливаясь, заглядывая в чьи-то окна. В школе так, что слышно было на улице, трезвонил звонок. Она выжидала у ограды. И только когда звонок смолкал, срывалась, рысью вбегала в вестибюль, бегом по лестнице, по гулким пустым коридорам.

– Опять? – раздельно произносила учительница.

Елена стояла с опущенной головой, спиной прислонившись к двери. Поднимала взгляд – и класс ждал восторженно.

– Садись, – быстро, с опаской произносила учительница, – садись, Соловьева.

Ей предстояла переэкзаменовка – по физике и химии. Нашли учителя, маленького, с большой, неровно выстриженной головой. Он носил твидовый – твид был дешев – пиджак с подложенными ватными плечами.

В тесной Елениной комнате письменный стол еле умещался; учитель и ученица сидели рядом, близко, как за одной партой. Бледным, обескровленным как бы пальцем учитель водил по строкам текста, накладное ватное его плечо касалось плеча Елены. Его подбородок, Елена всматривалась, покрыт был черными точками не укротимой и тщательным бритьем щетины. Пористый нос тянул книзу большую лобастую голову. Елена следила за движениями бескровного пальца и вдруг – зачем-то, непонятно – коснулась ладонью шершавой щеки. Он вздрогнул, отпрянул, чуть не подпрыгнул на стуле. Глаза его с желтоватыми белками наполнило до краев смятение. Мольба! Елена, откинувшись на спинку своего стула, беззвучно, не разжимая губ, засмеялась.

На переэкзаменовке ей натянули проходной балл и сделали вид, что не заметили, когда у нее вдруг поехали из-под чулок шаргалки.

Мать взяла ее с собой к морю отдыхать. Отчим поехать не смог, ему перенесли отпуск. С обязательной жареной курицей, яйцами, сваренными вкрутую, бутылками теплой минеральной воды они втиснулись в вагон. Двое военных вышли из купе – из деликатности.

Подтянувшись, подпрыгнув легко, Елена влезла на верхнюю полку. В школе тренер вызвал мать и сказал, что советует определить дочь в баскетбольную секцию. Мать возгорелась, Елена же сказала, что тренировки слишком частые. Англичанка тоже советовала... И учительница пения предложила, но Елена, тупо, упрямо глядя на мать, пробурчала, что и с обычной программой еле справляется – куда ей!

Мать выслушала, не спуская с дочери цепкого взора: «Послушай, – сказала она, – станешь человеком-личностью, и многое тебе простится, пойми. Иначе... – она помолчала. – Даже любимой, только любимой, жить трудно. Небезопасно и... унижительно. – Вздохнула. – Да и не получится это у тебя».

Елена моргнула. Когда мать с ней так разговаривала, она терялась. Проще было всему сопротивляться, против всего бунтовать.

Они долго, томительно ехали. Мать высказывала на полустанках, носилась по перрону в халате с оборками, приглядываясь, прицениваясь, за сколько что продают. Приносила в газетном кулечке малосольные огурцы, Елена с хрустом надкусывала. И иной раз ловила на себе материн взгляд, беспомощный и удовлетворенный.

Их соседи, военные, от деликатности краснели, потели, выходили в коридор покурить, а возвращаясь, присаживались рядышком на край койки. Мама улыбалась оживленно и хмурилась. Елена грызла куриную ножку и вытирала незаметно пальцы о край простыни.

Мелькнуло море. Впервые брызнуло при повороте за железнодорожным мостом, и нельзя было ошибиться, спутать эту плавную синь с рекой, прудом, озером, и даже перестук колес будто стал глуше, точно все захлестнуло мерной упругой волной.

Носильщик, чудной, точно пьяненький, с облупленным на солнце кроличьим носом, возник в купе, и мама быстро им распорядилась. Жуликоватое его лицо приняло мученическое выражение, когда он двинулся, навьюченный их вещами, и они следом за ним.

Мама кипела, хваталась то за Елену, то за сумку и взглядом ловила спину носильщика: он быстро пробирался вперед в толпе. А Елена, шаркая по пыльному асфальту, распутив длинные губы, озиралась: прямо в земле, а вовсе не в кадках, росли здесь с волосатыми стволами пальмы и низкорослые деревца, сплошь осыпанные розовыми цветочками. Елена воровато дернула один цветок, понюхала, сморщилась от отвращения: он пахнул ядовитой пряной сладостью.

Мать раскладывала вещи в разошедших скрипучих ящиках, на полках шкафа, а Елена, босая, уже в купальнике, выбежала на балкон. У моря вповалку, точно в беспамятстве, лежали люди: плеск, плеск, плеск вкрадчивый волн!

– Мама, – нетерпеливо, жадно она на мать оглянулась, – можно?

Мать, встряхнув и повесив на плечики безобразное, пестрое, по моде сшитое платье, кивнула рассеянно:

– Иди. Только, – крикнула уже вслед, – недолго, слышишь?

По раскаленной гальке, раня ноги и не замечая боли, Елена торопливо и неловко от торопливости побежала, остановилась, присела и запустила руки в гриву урчащей воды. Выпрямилась и с улыбкой неслыханного наслаждения вошла по пояс, по горло. Волосы облепили лицо. Она раскинула руки. Подождала волну и поплыла. Огромен, пусть необъятен был перед ней горизонт, она не хотела и думать, что придется ей возвращаться.

Бывало, их принимали за сестер, и мама – ха-ха – звонко смеялась: «А кто же старшая?».

Сестры, ясно. И ясно, что не близнецы. Одна очаровательна, прелестна, другая угрюма, дика. Да и купальник у той, что очаровательна, такой эффектный, а Елене-то выдала линияло-сиреневое безобразие, лифчик на толстых бретельках и торчащие колом трусы.

А... все равно! Елена далеко-далеко заплывала, яростно молотила ногами, по-дельфиньи отфыркивалась. Пусть они там, на берегу, забавляются, ладно!

Мама каждый день ходила на почту, звонила в Москву отчиму. Она была очень обязательная: раз обещала, значит, ясное дело, выполняла свой долг.

Елена следила: мать близко никого к себе не подпускала. На розовом махровом полотенце лежала, подложив руки под голову, чуть согнув в коленях ноги, – и поза эта тоже была у нее обдуманна, и обольстительна в меру, и целомудренна. А Елена лежала прямо на жаркой гальке, вниз животом: вокруг ходили ноги. Если кто-то вдруг рядом задерживался, она приподнимала голову, как сторожевой пес.

Пожалуй, впервые за многие годы Елена видела мать так часто, так близко, и удивлялась ее разговорчивости. Обычно мать с утра уносила из дому, у нее всегда находилось множество дел – Елене порой казалось, что мать нарочно себе эти дела придумывает, – и в дом врывается вихрем, тайфуном: не подступишься. Оглядывала дочь блестящими глазами: «Опять сидишь? Опять лежишь? Как можно так ничем себя не занимать!». Но странно, материна неукротимая энергия действовала на Елену, как сонное зелье: тяжесть какая-то появлялась в теле, в глазах рябило, туманилось, и спать хотелось, спать, и ничего не слышать, не видеть.

Отчим тоже очень много работал. И даже пес Тобик, породистый бульдог, пройдя обучение в специальной школе, поражал всех дисциплинированностью, ответственностью. Одна Елена казалась в семье каким-то выродком, даже обеда себе разогреть не хотела, предпочитала грызть подсоленные сухарики. И никакого в ней не было честолюбия. «Слушай, – говорила ей мать, – с твоими способностями ты ведь первой из первых могла бы быть!» Елена в ответ только лениво усмехалась.

Она ревновала мать. Ревность возникла в ней с того момента, как только она себя помнила. Как только научилась себя осознавать. Как только переступила порог своей собственной комнаты, а может, еще и раньше.

Она сказала себе: «Ага! Вот они как постарались, как ловко все устроили, детскую соорудили, игрушек навезли, лишь бы я им не мешала!». Сказала, возможно, другими словами, но смысл был тот. И все последующие годы она видела все, воспринимала именно в таком свете: ее задабривают, ее покупают – чувствуют, значит, что виноваты перед ней. Ах, они любят, не могут жить друг без друга: в первом браке мама ошиблась и по ошибке дочку родила – ее, Елену. Ну так она живет, она растет, и никуда не деться от нее маме. И уж, будьте уверены, она, Елена, горечь той давней ошибки маме ничем не подсластит!

Вот с чем она жила и ради чего старалась – отравить чем только можно их прекрасную, в полном друг с другом согласии жизнь. Пусть заплатят – да уж сколько смогут – за то, что им так хорошо, так замечательно, за то, что ради этого своего безбрежного счастья они отняли у нее, у Елены, отца.

С отцом она не встречалась. Однажды было, правда, свидание, ей исполнилось тогда двенадцать, и она пришла в дом к отцу. Он открыл дверь, заклацали многочисленные цепочки. С порога она взглянула – вот, вот в кого она пошла! Крупный нос, длинный рот, глаза недоверчивые, колючие, но это ведь те же, что и у нее, глаза.

«Папа!» – от неожиданности, верно, он не ответил на ее поцелуй. Она это простила, она все тогда готова была простить ему. «Проходи», – он буркнул и первым прошел по коридору в комнату.

Спортивные старые брюки сидели на нем мешковато, в тапочках смяты задники. Она вошла: неужели правда, что она родилась и жила когда-то в этом доме? Ничего не узнавала, не помнила, глядела во все глаза. Какие-то пыльные чучела зверей со вставленными стеклянными

рыжими зловещими глазами. Ружье, криво висевшее над тахтой. Столик под темной, немаркой, бахромчатой скатертью; печенье в вазочке, и на подносе три чашки.

Женщина, новая жена отца, бледнолицая, с резкими чертами, улыбнулась ей сладко, приторно и как бы с тайной угрозой. Елена растерянно опустила на стул. Отец сел напротив. Женщина продолжала стоять. «Пожалуйста, выйди», – отец сказал, не оборачиваясь. Елена не сразу поняла – кому? И женщина тоже вроде не сообразила. «Выйди, Галя», – повторил отец с той же совершенно бесцветной интонацией. Женщина, дернув шеей, вышла. Елена продолжала сидеть, обомлев.

Отец молча, пристально ее разглядывал: она это чувствовала, но боялась встретиться с ним глазами. «Твоя мать...» – так начал он свою первую, обращенную к дочери фразу.

Наверно, долго молчал, долго накапливал, чтобы выложить враз: ненавижу, ненавижу ее, предавшую, обманувшую, отнявшую всю радость жизни, пустыню выжженную оставившую после себя, лишившую дара любить, быть даже просто милосердным. Она, предательница, все светлое, все хорошее унесла с собой.

«Твоя мать... – он захлебывался, замолкал, а потом снова: – твоя мать...» Замолчал вдруг надолго, точно забылся. И: «Твоя мать – ах, какая она была! И как ей это удавалось? Что может быть после нее, кто может с ней сравниться...» Он мрачно оглянулся на дверь и неожиданно хрипло рассмеялся.

«Твоя мать... – глаза его впились Елене в лицо. – Учти. Никогда не прощу. Тебе – тоже».

Она испугалась. Она не могла преодолеть свой страх. Ей хотелось сбежать, скрыться. Она привстала. «Что ты, куда? – он спросил. – Чай будем пить». И улыбнулся вдруг с обезоруживающим детским простодушием. «Галь, Галюнь, – позвал ласково, – чай-то вскипел? А то Еленка вроде бежать надумала...»

Больше она не приходила в тот дом. Свидания, первого, оказалось достаточно. После него она вернулась с отвердевшим, как маска, лицом. Прошла к себе в комнату, ускользнув от матери в коридоре. Закрыла плотно за собой дверь – так и не дали ей изнутри запереться! – легла ничком и впилась зубами в подушку, чтобы никто не слышал ее воя.

Но мать услышала, вошла, взглянула. «Доченька, – зарыдала с Еленой в голос, – ах, зверь, какой же зверь! Доченька, доченька! Ну что ты, не надо было туда ходить... Зверь, зверь, зверюга!»

А Елена, корчась и не выпуская подушку из зубов, другое видела, другое разглядела: робкую, детскую улыбку отца, его нескладность, такую же, как у нее, такое же, как у нее, его одиночество.

... Теперь ей исполнилось пятнадцать. В ситцевом неуклюжем лифчике и трусах, торчащих колом, она лежала на горячей гальке и слушала, что говорила мать.

А мать говорила невнятно, но многословно... О женском, девичьем – гордости, кажется, чести. О том, что такое репутация. А также злые языки. И чувство собственного достоинства и незамазанности, цельности. Говорила пылко, увлеченно, но с каким-то тайным страхом в глазах. Запиналась, подыскивала слова, Елена ее не торопила. Если честно, и не очень-то слушала. Солнце жгло, раскаляло тело, переплавляя его будто в себе подобную энергию, лишая веса, очертаний, чувствительности. Это было потрясающее ощущение – легкости, бездумия, полета.

Мать говорила: «И надо за собой следить. Пожалуйста, доверься моему опыту...» Елена подняла пылающее лицо: «Пойду окунуться, а то совсем изжарюсь».

К вечеру жара спадала. Южное небо, плотно прошитое звездами, шелесты, шорохи, звуки в темноте обретали как бы большую отчетливость, выразительность, тайну. Пахнувшие ядовитой пряной сладостью цветы, как выяснилось, назывались олеандры. Низкорослые кустики с твердыми, словно из жести, листиками – самшит. А лавровым листом для варки супа можно было здесь запастись на всю жизнь. Елена шла по аллее, освещаемой матовым светом фонарей: точно сотни маленьких лун были подвешены на столбах, затененных кронами деревьев.

Чуть поодаль, отступив на два шага, шел за ней Толя, оба они лучше всех на пляже играли в волейбол. Гравий скрипел под ногами, они свернули с аллеи вбок. Толя раздвинул кусты: там стояла в укрытии скамейка.

Они уселись, по разным концам. Молчали. Толя протянул руку. Рука показалась голубоватой и как бы бескостной в темноте. Ладонь была жаркая, потная, а из пальцев будто ушла вся сила. Он дрожал. И Елена, из жалости, со взрослой какой-то заботой, желанием утешить, уберечь, потянулась к нему. Он сжал ее крепко, нашел ее рот. Долго... Это было потрясающее ощущение – легкости, бездумия, полета.

### 3

Последний, десятый класс Елена стала держаться гораздо спокойнее. Ровнее. Небрежней, с затаенной усмешкой в глазах. Глаза у нее были зеленые, прозрачные и совершенно дикие временами.

Это была дикость силы, внезапно осознанной, прочувствованной. Она выходила на улицу, и взгляды всех встречных мужчин обращались на нее. Она еле сдерживалась от хохота, такими нелепыми, глупыми казались ей эти мужчины, тупо, растерянно уставившиеся на нее.

Да, теперь она поняла, почему вот и у матери ее вдруг твердел от сдерживаемого смеха округлый подбородок, искры появлялись в глазах: пьянящее чувство власти, безнаказанности, вседозволенности, неодолимости соблазна – а соблазном-то была она!

Выйдя из подъезда своего дома, Елена первым делом стаскивала вязаную шерстяную шапочку, совала ее в карман: каштановые густые пряди расплескивались по плечам, снежинки падали и, как звезды, оседали на волосах. Она шла, вскинув голову, притягивая как магнитом к себе взгляды, с абсолютной уверенностью, что, пока поет, звенит в ней ее сила, победам не будет конца.

Она забавлялась: в автобусе, скажем, выбирала себе жертву, какого-нибудь очень пристойного солидного представителя мужской половины человечества, в барашковой, скажем, шапке, с шарфом, заботливо укрывающим горло, и наблюдала за недолгим, надо заметить, превращением этого *homo sapiens* в покорное, робящее от преданности животное.

Лицо его багровело, что было, верно, результатом борьбы с самим собой. И вот, когда, пропотев, подавив в себе голос разума и представление о приличиях, он уже и не думал сопротивляться, тогда случалось самое смешное: его глаза, приковавшись намертво к лицу Елены, чуть ли не выпадали из орбит, повисали, казалось, на тоненьких ниточках. Елена думала: «Вот что значит проглядеть глаза».

Но сама она относилась к своей внешности вполне трезво, сознавала, что вовсе не безупречна ее красота: крупный нос, длинный рот никуда не делись. Перемены-то произошли, скорее, изнутри. В длинных ее ногах, если взглядеться, обнаруживалась некоторая кривизна. Плечи были, пожалуй, излишне широки. О лице и говорить нечего, все в нем было неправильно, не по канонам. Лоб с неровно, низко чересчур растущими волосами она старалась челкой прикрывать. Уши торчали. А изящная горбинка материнского носа у нее перешла в грубую волнистую линию, в конце обвислую и сближенную чересчур с верхней губой. Ей неприятно делалось, когда на нее в профиль глядели.

Но все это было пустяки. Она смеялась во весь свой длинный рот с белыми варварскими зубами, и ямочки прорезались на румяных щеках, а в зеленых глазах прыгали сумасшедшие веселые огонечки.

Высокий рост, длинные ноги придавали движениям ее плавность, томность: она не спешила, просто шагала и оказывалась далеко впереди. Не вспрыгивала на подножку троллейбуса, а только заносила ногу; не обегала металлический барьер, отделяющий тротуар от проезжей части, а перелетала через него безо всякого видимого усилия. И от этой легкости, гибкости ее долгого тела на лице ее расцветало выражение благодушия, снисходительности и лукавства.

Да, она стала ровнее, но такая ровность внушала подозрительность матери. Мать, по-прежнему деятельная, великолепная, все чаще теперь к Елене цеплялась. Елена чувствовала на себе ее ищущий чего-то взгляд. И крикливость мать себе позволяла безо всякого даже повода.

Как-то Елена пошла вечером Тобика прогулять, эта обязанность ей вменялась. Была зима. Дома, глядя в зеркало, Елена надела вязаную шапочку, но уже в лифте стянула ее с головы. У подъезда ее ждал Игорь.



Тобик прыгал, шалил, как может шалить благовоспитанный пес, а Елена и Игорь сидели на бетонной приступочке соседнего подъезда и беседовали.

Сколько они так сидели? Да вроде недолго. Но у Елены потемнело в глазах, ноги обмякли, когда она увидела, как чуть не снялась с петель дверь их подъезда – оглушительный хлопок! – и в тапочках на босу ногу, в шубе, накинутой поверх халата, вынеслась во двор ее мать, огляделась и вот уже стояла перед обмершей, скорчившейся на бетонной приступке парочкой.

Мать хотела что-то сказать, но задохнулась. И тут Елена ощутила удар по левой щеке. «Не ходи в мороз без шапки!» – мама выкрикнула. Удар по правой: «Не сиди на холодном, сколько раз говорить!». Развернулась и помчалась к их подъезду. Тобик бросился за ней.

«Зачем же она в тапочках, в халате?» – пронеслось в голове у Елены. Мать скрылась, и дверь за ней так же оглушительно захлопнулась.

Елена встала. Игорь – он представлялся ей таким взрослым прежде – теперь глядел на нее округлившимися от испуга глазами, приоткрыв удивленно рот. Крохотная, пижонская по тем временам кепочка еле удерживалась на его затылке. Курка распахнута, и виден был узкий галстук с вышитой кошечкой, кокетливо обернувшейся собственным хвостом.

Елена посмотрела на кошку, посмотрела на кадыкастую шею Игоря, посмотрела в удивленно бессмысленные черные его глаза. Ладно, сказала, иди. А ты? – выдавил он растерянно.

Она вынула из кармана вязаную шапочку: я тоже пойду, пора уж.

## 4

Мама плакала. Сидела на широкой двуспальной кровати, опустив ноги с розовым педикюром, не достающие до пола, и тихо, жалобно, по-детски всхлипывала. Елена гладила маму по спине, успокаивала.

– Нет, ты не понимаешь, – мама пыталась выговорить сквозь слезы, терла глаза мокрым, в комочек, платком. – Не понимаешь... И не слушаешь! Как сделать, чтобы ты услышала? И почему я не могу тебя уберечь? Столько грязи вокруг, зубами, когтями драться за тебя готова, да ведь ты сама...

Мать умолкла, с тревогой взгляделась: скажи, скажи мне все, правду, я помогу, только скажи!

Елена слегка, почти незаметно от матери отодвинулась: что ты, мама...

– Ну да, я знаю, – мать не дала ей продолжить, – если бы в семье ты жила, если бы я тогда удержалась, заставила бы себя, скрутила...

– Мама, зачем? Не надо, прошу тебя.

– Конечно, не надо, ты права. Тем более что ничто ничего бы не изменило. Это я так говорю. Ищу просто объяснение. Потому что я сделала все, что могла. И с Валерием мы живем так, что это только примером могло быть. Никаких угрызений... И от тебя совсем немного требовалось. Малость! Но ты... – она спохватилась, сжала с силой в своих руках руки дочери: – Пойми. Ты вырастешь, тоже станешь матерью, и не дай Бог дожить тебе до таких вот минут, когда вдруг почувствуешь полное свое бессилие. Любовь – и страшную жесточенность. Да, родила – и готова просто убить. Ужасно... Все знаешь, что подсказать, а тебя не желают слушать. Твое, родное, а никакой тут твоей власти нет. Почему? Ну что я могу с тобой сделать? Ведь все предвижу, все могу предсказать, а ты... ты ускользаешь. Раньше надо было говорить? Когда? Вчера еще разве могло прийти в голову? Боишься ранить, оскорбить, опомнишься, и палкой бить не поможет.

Елена улыбнулась.

– Что ты смеешься? Тебе – смешно?

Елена опустила глаза, пряча улыбку.

– Вот ведь в чем дело, – мать явно сдаваться не хотела, – тебе кажется, все, что с тобой происходит, это впервые. Никто раньше ничего подобного не испытал. А было все, тысячу раз было! Господи, думала: научу, всему научу свою дочку. Ты в кроватке маленькая, жалкая такая лежала, помню. Ноги-руки длиннющие, слабые, а темечко почти прозрачное, мягонькое, я так за тебя боялась. К чему я это? Ах да, ощущение, что совсем недавно тебя родила. Недавно воображала: вот вырастешь. Роддом, отец твой за нами приехал. Нет, я не о том... Болела ты. Все словно вчера. Характер твой не сразу выказался. Хотя, собственно, что? Ну, упрямство, леность, обидчивость не в меру. Так я же любила тебя! На Валерия как кошка бешеная кидалась, терзала, мучила, недоверчивостью изводила – ты разве догадывалась? – потому что не родной он отец. Родной бы побил, и тут бы, наверно, смолчала. А у неродного и за взгляд там какой-то глаза выцарапать готова была. Разве тебе понять? Счастливая моя жизнь – сколько в ней муки! Лежу ночью, гляжу в темноту: а спишь ли ты за стенкой? Встать, подойти, поправить одеяло – вот о чем думаю. Ты ведь считала: мы с Валерием душа в душу живем. А сколько криков, скандалов он получал – из-за тебя. И ни за что, просто потому, что с первого дня, только мы поженились, глотать меня начало – не то что вина, двойственность какая-то. Каждый шаг, каждую минуту два человека во мне. Один, твердый, знал, как тебя воспитывать, какие запреты должны быть, строгости. А другой ничего не знал, ничего не думал, одного просил, требовал – прижать тебя к груди, нарветься вдосталь, забыть, кто мать, кто дочь – одно мы целое.

– Ну, – Елена усмехнулась, – первый второго, как понимаю, побеждал. Второй намного был слабее.

– По-ня-ла! Все поняла. Спасибо, доченька.

Дотянулась босыми ногами до пола, прошла по ковру, поправила пышные волосы:

– Тебе завтра в семь вставать, не просп.

– Поставлю будильник. Но ты, мама, все же зря так жестко обошлась со вторым. Возможно, тебе стоило к нему прислушаться.

## 5

Говорили, что даже когда она смеялась, глаза у ней оставались грустными. Правда? У зеркала она пробовала засмеяться, но неприятным получался смех, неприятен взгляд, слишком пристальный, высматривающий, жадный. Думала, вот бы увидеть себя со стороны. Обидно, что она сама хуже других себя знала, прелесть собственную не могла разглядеть, а ведь все находили ее очаровательной. Какое такое имелось в ней богатство, восхищение вызывающее? А она, что же, не способна оказывалась его оценить? С рассеянной улыбкой выжидательно оглядывалась вокруг: кто поможет, кто разъяснит, расскажет ей о ней самой же?

Нетерпение вело к неразборчивости. А может, следовало бы это не неразборчивостью назвать, а доверчивостью чрезмерной? Излишней, в беззащитность обращающейся добротой, с какой она глядела на всех встречных, от всех ожидая поддержки, ласки, а уж никак не коварства, не злого умысла. Поэтому, когда с ней заговаривали в метро, шли следом по улице, останавливались в подземном переходе, она не бросала трезвое, ледяное «нет», а задерживалась, пусть на мгновение, в нерешительности, но явно ожидая продолжения. Об этом свидетельствовало ее лицо, взгляд, туманный, призывающий.

В том, кто ею вдруг заинтересовался, она готова была видеть прежде всего привлекательные черты: либо высокий рост, либо умный лоб или, скажем, изящную ироничность в интонациях. Он был хорош – хорош был каждый ее заметивший, выделивший из толпы. Благодарность, признательность тут же в ней вспыхивали и выражались в улыбке, доверчивой, поощряющей.

А почему нет? Почему тот, кто замер, завидев ее в переулке, не мог быть тем, кого она и ждала? Откуда и кому знать? Разве существуют особые приметы? Ну просто человек, безликий, посторонний, спешил куда-то, и вдруг обернул к ней свое удивленно-радостное лицо, и сразу обрел неповторимость, единственность.

Она не жалела, если даже и ошибалась. Не винила ни их, ни себя. Не оставалось обид, потому что обидчики не запоминались. В состоянии полета наблюдательность, пронизательность начисто исчезали в ней. Она ослеплялась, подчинялась любви, любовь любила, ну а после... Так все вдруг становилось вяло, пресно, к опостылевшему, наскучившему какой мог возникнуть интерес? Она не чувствовала разочарования, ни минутной даже усталости, опустошенности. Все, что случалось, случалось впервые. Шептала самозабвенно: «Ты мой единственный»... А после не помнила даже лица.

Ей исполнилось двадцать.

## 6

В суконной юбке и черном, под горло, свитере Елена сидела в гостях у своей толстой подружки Вари. Варя жила в коммунальной квартире с такой же толстой матерью, и в доме у них гостей закармливали пирогами, ватрушками, точно эта семья была одержима задачей, чтобы худые вообще на свете перевелись.

Елена вздыхала – и ела. Пила из огромной вызолоченной чашки сладчайший чай. Варина толстая мать в блестящем, скользком из китайского шелка халате без умолку говорила. Толстая Варя, перевернув лежащую на подоконнике кучу книг, тоже села чаевничать.

Варя говорила басом, хрипло смеялась, но каждая сказанная даже короткая фраза всегда сверкала зоркой наблюдательностью, скептическим, с оттенком цинизма, умом. Елена надувала щеки, заполненные до краев чаем, сдерживалась изо всех сил, чтобы не прыснуть. Варька как скажет, за живот только держись. Всех мела своим острым языком, и себя тоже со всеми вместе. Толщина собственная, угрожающая усатость, спина грузчика и дворничьи повадки – чем не повод для упражнений язвительной, вострой, даровитой натуры?

Варька была, что называется, самородок. Ее мать, портниха, обшивала пол-Москвы, и у Вари, крутившейся целый день под ногами у заказчиц, какая могла найтись «духовная пища»? «Перед, кажется, вздернут... лиф не жмет?...» Варька подбирала лоскутья, сосала конфеты, подсовываемые материнскими клиентками, и забавляла их в паузах между примерками от них же услышанными анекдотами. В комнате, где они с матерью жили, даже намека не было на домашний уют, какую-либо упорядоченность. На большом обеденном столе вперемешку с конфетами, печеньями, чашками лежали обмылки, мелки, жестяные коробки с булавками, обтрепаные журналы мод. А центром, алтарной частью являлось гигантское трюмо, от которого некуда было спрятаться, притягивающее, втягивающее в себя все и вся. Такая его довлеющая, зловещая вездесущность утомляла, взвинчивала, как и запах пудры, женского пота, духов. Но Варька как-то наловчилась отдельно, обособленно существовать в непотребной такой обстановке. Когда начала запойно читать, и как вообще появились у них в доме книги, неизвестно, но Варька глотала их так же жадно и неразборчиво, как материны пироги.

Мать хвасталась образованностью дочери, но и она обомлела, узнав, какой же Варька выбрала себе путь: с ее-то внешними данными решить стать актрисой? О господи...

Но Варьку, как ни удивительно, в театральное училище приняли. Длинноногие красотки оказались за бортом, размазывали, рыдая, по щекам голубую, розовую, черную краску, а бокастая, тяжелая, грозно насуспенная от смущения Варька в десятый раз читала в списке зачисленных свою фамилию – и не верила.

Не верила, когда уже плясала на учебной сцене разудалый танец пирата-контрабандиста, обвязав голову пестрым материнским платком, с дутой золоченой серьгой в ухе, и зал изнемогал от хохота, а у нее самой в глазах стояли слезы: правда ли, возможно ли?...

Топала по хлипким доскам сцены своим сороковым размером, веселя, дразня зал, и никто не подозревал, что, обыгрывая свою неуклюжесть, некрасивость, превращая их в оружие таланта, она томится по легкости, изяществу, хрупкости, жгуче завидуя и жгуче презирая это, не данное, не доступное ей.

Они, сидящие в зале, не догадывались, что чем им смешнее, тем ей больнее, что на ее смертной тоске настояно безудержное их веселье, что, торжествуя сейчас над ними, она себе – им всем – мстит, но что в этом торжестве есть и ее к ним благодарность и что вообще вот сейчас – высшее наслаждение для нее.

Она была доброй, Варя, к слабым, больным, убогим тянулась, вставала на защиту их. И в разлапистых, пухлых, «дырявых» ее руках деньги не задерживались, водой утекали. Но желание пробиться во что бы то ни стало, любой ценой, владело ей, и доброта легко обращалась

в коварство, снисходительность в жестокость, дружба в неверность. С добродушной улыбкой на толстых негроидных губах она прекрасно умела интриговать. Считала это своим правом – выжить. И более того, конечно, заявить о себе.

Но Елена не была ей конкуренткой, общие профессиональные интересы их не связывали: какой-то институт иностранных языков, да разве там делу учат? И потому, верно, она Елену и любила искренне, без каких бы там ни было потайных ходов. И любовалась, и умилялась, вот как сейчас.

– Какая же ты бледненькая, – вздохнула сокрушенно, в Елену вглядываясь, заботливо и в то же время собственнически толкая ее к дивану. – Не обедала, небось? Все кусочничаешь. Суп надо есть! От супа вся сила.

Елена слабо, беспомощно улыбалась. Рядом с мясистой квадратной Варькой она чувствовала себя маленькой, хрупкой. И ей приятна была Варькина покровительственность, позволяющая ничего самой не решать, не думать, просто сидеть расслабленно и щуриться, как кошка.

Упорный бычий взгляд темных выпуклых Варькиных глаз остановился на Елене.

– Слу-а-ашай, – она вдруг воскликнула, – я щас тебя никуда не пушу! Ко мне человек один придет, по делу. А ты будешь на диване сидеть. Да, вот так... – Варька отступила, склонила набок голову. – Именно, очень прекрасно.

– Что ты? – Елена рассмеялась. – Точно прицениваешься. Кто придет? Что еще надумала?

– Увидишь, – Варька решительно задвинула стул. – Человек... Да и не надо тебе знать, не поймешь, не разберешься. После объясню. Впрочем... Талант, ты что-нибудь про такое понимаешь? Талант очень неудобная штука, со всех сторон углы, нигде аккуратно не умещается. Но такая сила, всех под себя. Тощенький, невзрачный с виду, а весь изнутри клокочет. Улыбается, а в глазах: вот прирежу сейчас!

– Ну и обрисовала, – Елена засмеялась. – Мне красивые нравятся, к чему невзрачный?

– Дура! – Варя стукнула кулаком по столу, золоченая чашка жалобно звякнула. И тут же вкрадчиво: – Прошу тебя, Еленочка, не ерпенься. Я ведь, знаешь, когда что удумаю, не отступлюсь. Осенило, кончать пора с твоей бесхозностью, и как я раньше не сообразила... Который час? Он, конечно, опоздает, но так или иначе придет!

– Так что же, я до ночи сидеть тут буду? – Елена произнесла капризно.

– Ах, паинька какая, а то ты не задерживалась черт-те где, черт-те с кем шляясь. Сиди! Я сейчас твое будущее устрою, организую, поняла?

Елена засмеялась, запрокинув голову на спинку дивана, и вдруг почувствовала в себе дрожь. Варька стояла над ней, глядя задумчиво и безжалостно, по-чужому. Точно над жертвой, Елена подумала, чья участь уже была решена.

Раздался звонок, резкий, требовательный.

– Он, – сказала Варя, – странно, не опоздал.

Елена заспешила принять независимый вид. Гигантское зеркало поймало ее в себя, вынудив просительную, униженную улыбку. Бурая портьера на двери колыхнулась, впустив в комнату вихрастого, узкого, непомерно вытянутого в длину, в высоту – мужчину, мальчика? – трудно было угадать его возраст. Порывистость, диковатая даже какая-то неслаженность движений разительно не соответствовали старческой застылости лица, глубинному спокойствию глаз, светлых, небольших, почти скрытых под набрякшими веками.

Но вот он улыбнулся. Улыбка, юношески открытая, еще больше состарила его. Глубокие складки обозначились от крыльев носа, морщинки сеткой разбежались от глаз, рот сжался в узкую щель. Но вместе с тем какая же обаятельная была у него улыбка! Елена успела не подумать даже, а ощутить всем нутром: погибла, неужели погибла?

– Николай, – ворчливо он представился, пожимая костлявыми холодными пальцами Еленину руку. Сел, выставив острое колено, заплетя длинные ноги, точно запутавшись в них. Варя

налила ему чай, и он с привычной рассеянной отвлеченностью бросил в чашку один за другим восемь кусков сахара.

– Как ты можешь пить такой сироп! – Варя воскликнула как бы сердито и одновременно восторженно. – Уж на что сама люблю сладкое...

– Я к сладкому равнодушен, есть вообще скучно. А так, одним махом, утоляю голод и питаю мозг. – Улыбнулся снова, так же ослепительно. – Хорошо чай завариваешь.

– Спасибо. Только за чай ты и можешь похвалить. А так... от тебя дождешься.

Елена с удивлением отметила, как переменилась в присутствии Николая Варя: обиженной прежде она не видела ее никогда. А тут каждое Варино слово, каждый жест отмечались именно обидой, подчеркнутой намеренно, чего, впрочем, Николай как бы не замечал.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.